

1

Смысл понятия «невозможно»
одинаково страшен и стар.
Серёжа, милый Серёжа,
о, как рано ты насмерть устал...

Череду просветлений и споров
одинокó прошёл поэт.
Среди осени — радуги всполох
в тридцать коротких лет.

Напоровшись душою на грабли
зла и лжи, он не смог устоять:
кровь зари знает каждой каплей,
что его ни за что не поднять.

Подломились колени у яблонь,
смятых тяжестью жуткого дня.
Сыплют снегом небесные хляби
на понурые жерди плетня.

Расцветая в свой срок за оградой,
все цветы отцветают в свой срок,
и не сделает больно саду
увядающий раньше цветок.

У людей бывает иначе:
по тому, кто до срока уйдёт,
хоть один человек, да заплачет,
хоть один вместе с ним, да умрёт.

Босиком прибежавшая утром,
недолюбленная певцом,
в золотые, но мёртвые кудри
Русь заплаканным вжалась лицом.

Обречённо любимая родина —
первый шаг и последний шаг, —
ты прости, страна-недотрога,
если что-то было не так.

Закончил Сергей Есенин
головокружительный бал.
Гроб на белых цепях полотенец
в колодце могилы пропал.

2

В углу — иконы. Выскобленный стол.
Во дворе кусточек маленький
прячется за маменьку,
тянет за подол...
В огороде цветик аленький
стесняется или боится
на грядке чёрную птицу,
греется кот на завалинке,
льётся солнце на вымытый пол.

Всем светло в детстве!
Голубеет распахнуто лён,

маленький мальчик и тоненький клён
растут вместе.
Вечно звездой удивлён,
вечер прилёт на крылечко,
топится в доме печка,
месяц кем-то скривлён,
слышатся ругань и песни...
В углу — иконы. Выскобленный стол.

3

Слава Богу! Кони луну не выпили!
Не дотянулись едва-едва...
Пахнут руки мятой и липами,
травой — родина, и родиною — трава.

Измученному детскому взору
открылись тайны небес!
Ветер влюблённым вором
берёзе под платье залез.

Вечером тёплые избы
темень в углах сторожат.
Девки смехом и визгом
пугают на озере жаб.

Смотрит долго на звёзды
подросток в лазурных краях,
гадая светло и просто:
«Какая из них — моя?»

Преуспел в деревенских науках.
Там, где ягоды волчьей яд,
подглядел, как тощая сука
лизала мокрых щенят.

Увидел, как красное сено
мечет в стога заря
и поджигает стены
белого монастыря.

Ливень лужами чавкал,
вспоров облакам животы.
Шептала нежная бабка
про колдунов и святых.

Тучу проткнул над хатами
месяц — коровий рог!
И распустились маками
бутоны зелёных строк!

И голова закружилась,
и разбежались глаза!
С синих ладоней звезда скатилась
лампадой под образа.

4

В исполнение мечты о дыме
сбили цепи с зари лучи,
и набухшее солнца вымя
пламя выплеснуло в ночи!

Сок смородины — вот чернила,
стебель ландышевый — перо!
На рязанских горит кобылах
красностиший его тавро!

В кольца свились пшеничные пряди,
взгляд синей голубых цветов.
Златошвейкам на зависть наряды
есть в котомках босых пастухов.

Раздают они девушкам русым
в сарафанах любовной тоски
звёздных сказок искристые бусы,
лунных песен в жар-птицах платки.

Что для матери смех и забава,
то для сына — сбывание снов:
бредит он самой звонкою славой,
книгой лучших в России стихов.

Впереди и Москва, и Питер,
зыбких замков стеклянный песок;
белой ночи там держит скипетр
недоступный, загадочный Блок.

Светлый мальчик скоро уедет...
Оттого и заплакал дождь,
что совсем недолго на свете
погостит этот славный гость.

Тополей смолистые кроны
встрепенулись вдогонку чуть-чуть,
а промокшие злые вороны
вслед за ним отправились в путь...

5

Поток похвал медов на вкус,
вокруг кричат: — Он гений!

Златая Русь, пастушья грусть —
вот суть стихотворений!

Какой прелестнейший цветок
на фоне роз салона!
Как свеж полынный ветерок
малинового звона
неподражаемых стихов
с румянцем нежным Леля!
Звенят хрусталинками слов
вишнёвые метели...

Вокруг галдят: — Он херувим!
Небесных рощ пичуга! —
не видя смертного над ним
верёвочного круга.

6

Молнией красной небо расколото!
Красное знамя — знамя Христа!
Очи ликуют! — зависла над городом
новорождённая чудо-звезда!

И крутобёдрая дева Свобода,
перешагнув облетевшее платье,
вышла на свет и сразила народы
режущей глаз красотой и статью!

Солнцеподобная дивная дева
переступала проспекты и реки!
Как косяки серебристые в невод,
в руки к ней толпами шли человеки!

В братьев помазаны люди отныне!
Не баррикада булыжною грудой
вскормит страну голубени и сини —
облако вскормит зефирною грудью!

Молнией красной небо расколото!
Красное знамя — знамя Христа!
Над опьяневшим, беспомощным городом
ярко пульсирует чудо-звезда.

.....
Поздно в скрипевших обновкою кожаной
узнаны были посланники дьявола...
Царской семье, второпях уничтоженной,
Бог не помог, допустив небывалое.

Воронам, сыплющимся с крон,
кресты кладут поклоны.
Изрублен русский эскадрон
русским эскадроном.

Взметнулись кони на дыбы,
швыряя ярость наземь.
Туч забытые гробы
сочатся трупной грязью.

Справляет сытный праздник смерть
с улыбкою осторожной.
Кромсая плоть, взрывая твердь,
джин сабель проклиал ножны.

С безумным визгом сшибся стон,
как ненависть с любовью.
Рекой кровавый самогон
течёт в постели вдовьи.

Расправы всюду и везде,
родня по разным станам.
Враждой обглоданных костей
не меньше, чем бурьяна.

Свинцом разорванные рты
не молят о спасенье.
На месть залёгшие в кусты
меняют Воскресенье.

Все большаки запрудил тиф
обозами с оброком.
И над всем этим — словно миф —
стихи и бледность Блока.

Уступок здесь не может быть,
никто не уступает!
Но кто-то ж должен победить,
и кто-то побеждает.

В портах кишачих грозный мат
беспомощен до боли...
Как дождь, обильный звездопад
прошёл над полем.

Над дымом спятившей страны,
над чёрным шквалом
качнулось яблоко луны —
но не упало.

Перепуганный свет осыпается с лиц,
реквизирован мир по чекистской инструкции,
и гиенами двух сумасшедших столиц
верховодит шакал революции.

Умолкают один за другим голоса
кучевых облаков зачарованных подданных;
на железный кулак, как девичья коса,
деревенское счастье намотано.

Холодны, как мертвецкой протрупленный лёд,
холм московский, скала петроградская...
Этот холод тебя непременно убьёт,
сделав так, чтобы смерть была адскою.

И пригожей славянкой в ордынском плену
по себе плачет сердце заранее;
не утопишь в любом океане луну,
а в вине не утопишь отчаянье...

Русский поезд в коммуны несётся в чаду,
кожей чует поэт, тьмой за шею прихваченный,
что ему из вагона на полном ходу
очень скоро шагнуть предназначено.

Опилась по Европам шнапса
и пошла воплощать сплеча
постулаты косматого Маркса
клика лысого Ильича.

Совнаркома лютого члены,
под сверканье пенсне и гогот
перерезав России вены,
нахлебаться никак не могут.

Изнутри им оплавил темя
нелюдской жестокости сепсис.
В полсвечи рассветляет темень
искорёженный месяц.

Под прикрытьем высокой цели
разоряются с хищным пылом
залы славы, смиренья кельи
чёрной силою с красным рылом.

Ожирели с падали мухи,
загорают трупы на пляже.

Одичавшие кобели и суки
душу чувствуют только меж ляжек.

Поджигатели, ныне зодчие,
кровь свалив на белую гвардию,
на манер матёрых налётчиков
строят лагерную демократию.

На иконах серебряных вытекли
Богородицы очи раскосые...
Русь! Не проще ль, чем всё это вытерпеть,
задавиться своими же косами?!

И как быть теперь человеку
не из кремниевых людей?
Камень к груди да в реку?
Или наган к бороде?

Прозорливое сердце поэта
чем доверчивей и нежней,
тем беззащитней; в стране Советов
он, будучи пьяным, был всех трезвей.

10

Есть тьма поярче блеска звёзд,
есть дни чернее ночи,
и смех — хоть сразу на погост,
и высь — как яма волчья...

— От увлечения вином, —
хихикала богема, —
Есенин тронулся умом
и бьёт в своих поэмах

поклоны то Руси Святой,
то злобным комиссарам;
в нём, бедном, смешан поп с Балдой
и ладан с перегаром.

Хоть и умеет он пленить
лирически и тонко,
плебейских черт не соскоблить
с крестьянского ребёнка.

Другие крыли ярлыком
от имени рабочих:
— Он революцию с быком
случить нахально хочет!

Шуршал заспинный шепоток:
— Одет не на копейку.
Знать, угодить неплохо смог
буржуйкам и еврейкам...

С горчицей пополам халва
налипла на подошвы.
Так шла и ширилась молва
о будущем его и прошлом.

Он, точно рыба на песке,
порвать пытался сети,
на всё тончавшем волоске
вися на этом свете.

Там — ель-шутиха в мишуре,
тут — липу напрочь рубят...
А в декабре, а в декабре
могил копать не любят.

11

Много пьяных в Москве в воскресенье
в проспиртованных кабаках.
Говорят, что блудницам Есенин
разъясняет там толк в стихах.

Что в друзьях с ним бандиты и воры,
и на краденое он пьёт,
что подохнет он под забором,
если только ещё живёт.

Расползаются змеями сплетни,
кружат слухи стаей ворон:
он развратник и хлыщ последний,
бросил много детей и жён.

Окрещён дикарём и альфонсом,
с добавлением: сей дикарь
не поэзии русской солнце,
а у входа в трактир фонарь.

Тем, кто мнит, что они без изъяна,
ненавистен души его сад.
Плюйте! Вам ведь ни трезвым, ни пьяным
не суметь, как он, написать!

Вместе с ворохом дел уголовных
слава катится по Москве

о талантливой баснословно
золотой его голове.

Кто смеялся, кто чуть ли не плакал,
видя в нём неприкрытый раздор,
а он жил, словно завтра — плаха
и врубившийся в плаху топор!

Трон сплетя для соломенной Музы
из ромашек и васильков,
превращал он житейский мусор
в самоцветы дивных стихов.

И шутил как-то горько и тяжело
под надорванный всхлип струны:
«Неприлична душа нараспашку,
как расстёгнутые штаны...»

Бьют под рёбра постылые гости,
на груди топчась в сапогах,
и графинов скрещённые кости
вырастают на лбах в рога.

Он всё знал, он всё ведал и видел,
и себя представлял в гробу...
Не Рязань променял на Питер —
на стихи разменял судьбу.

Надорвавшийся песней, как жизнью,
соловей сам себя отпевал:
почерневшие лопались вишни,
пел поэт, ну, а жизнь — доживал.
Безголосым ждатель всё интересней:
чем подавится — жизнью иль песней?

Видно, верно насчёт богокнижий
прощельяга один заключил:
— Возлюбил как-то ближнего ближний,
а потом взял его да убил.

Нету сил ни кричать, ни драться...
«Добровольца пустите в ад!
Я искусен по части скандальцев
и люблю виноградный яд!

И к тому же стишки сочиняю.
Сам себе господин и раб,
захотите, так тисну про баб,
что чертей друг на друга потянет!

Пусть скорей надо мною молитву
прочитает, кровавый втрое
за счёт пары зеркал на стене,
брадобрей с окровавленной бритвой...»

Невдомёк ни отцу, ни маме,
что его так ломает и душит.
Напишет: «Споткнулся о камень», —
разобьётся на скользких душах.

Он придумал себе Россию —
там был свет. А вокруг был мрак.
Не хватало суков на осинах
после каждой из многих драк.

12

Поникли розы, что не видели от века
свириее, чем красная, звезды;
стибаются под взглядом дровосека
садовники и ёжатся сады.

Бесёнок, околачивавший груши,
с броневишка про Русский Мир сказал:
— Как Карфаген, он должен быть разрушен!
И он разрушен прямо на глазах.

Ромашки, почерневшие от горя,
впечатались в изгаженный простор.
Как страшен Хам, чумной от алкоголя,
поднявший на Отечество топор!

Об эту пору кончилось святое,
повесился на рее гордый стяг.
Теперь в диковинку участие простое,
обыденны удары просто так.

Чужой мольбы не слышат ныне уши,
Бог — маузер, а Библия — декрет,
и кумачом спелёнатые души
как истину воспринимают бред.

На «счастье», взор смутившее на блюде,
просившим счастья выписан мандат,
и западнёй захлопнутые люди
за рай покорно принимают ад.

Поводыри всесильем щеголяют,
в тайгу сгоняя живность с площадей.

«Рабы — не мы» всем, что в них есть, виляют
пред кучкою безжалостных вождей.

Поникли розы, что не видели от века
свирее, чем красная, звезды;
посечены секирой дровосека
садовники, их дети и сады.

Как серп срезает золотистый колос,
Есенин срезан лезвием петли...
Из дальних лет проник мне в сердце голос,
дошедший глухо — как из-под земли.

13

«Строгий ряд кладбищенских оград,
и не я ль под той могильной кочкою?
Может быть, грядущий мой собрат
доброю меня помянет строчкою...

Серым мясом взрытых площадей
чавкала повсюду рысь советская,
и писал я сказку для людей —
про седую душу, хоть и детскую.

Я слабел, а мой талант крепчал.
Русь — моя единственная Персия!
Муза потакала мне, шепча:
— Ах, какой же ты, Серёжка, бестия!

Где мой стол был, где была кровать,
важно ли, когда она мне смолоду
позволяла с облаков срывать
спелых звёзд лирическое золото.

Но не зря мне снился чёрный сад
и последний стих с кровавой точкою...
Может быть, неведомый собрат
доброю меня помянет строчкою.

14

Я с Музой шёл, и, словно валуны,
вздymались мостовые под ногами,
и бледный свет пригашенной луны,
не отставая, следовал за нами.

Я поверял Христу мои мечты —
сугубо вздор, никчёмный и неважный,
и вздрогнул, с недоступной высоты
услышав отзыв — гулкий и протяжный.

Из тьмы, сменяясь, лики проступали,
но уловить не мог я смысла слов
в невнятном бормотанье голосов,
исполненных провидческой печали...

Мгновенно и без всяких объяснений
ушли Святые. В венах плавал зной.
О чём шла речь? О случае со всеми?
Или о том, что будет лишь со мной?

15

На земляничник наступил восход
и ярким соком брызнул в щёки неба.
Столпившийся у райских врат народ
не умолял — грозил, стрелял и требовал!

Летел табун наивности людской
на ложный свет по гибельной дороге,
и в этой скачке жеребёнок мой
переломал об лёд чугунный ноги.

Приснившегося Иоанну дня
подробности страшной предстали в яви:
Россию захлестнувшая резня
приравнивалась к благодной забаве.

Сгибало в три погибели меня,
изранен был я звёздами стальными,
в которых жизни меньше, чем у пня
листы. Из-под корней густой полыни,

мир не расстроив и не сокруша,
на холод плач пожаловался детский...
Всё тем же, тем же мается душа,
чем изводился Фёдор Достоевский.

16

Небо в ожерельях звёздных бус
прозвенело над голодную коровой.
Почему, хоть новой стала Русь,
бьют ещё сильнее в живом живое?

Сколько ещё нужно извести
ради их же сытости и счастья?!
Над землёю задница висит,
со светилом схожая отчасти.

Горький весельчак и шалопад,
у пивной мочусь я в морду веку.

На хрена нам всенародный рай,
если в нём нет места человеку?

17

Вино и женщины... В который раз
мне леденит оскоминою зубы.
Сквозь алый дым нетрезво щура глаз,
заря целует каждого из нас,
так что ж теперь, заре отрезать губы?

Вино и женщины как омут для мужчин,
когда с судьбой им впору разодраться.
Любимых женщин не теряют без причин,
а с нелюбимыми, которым лжёшь в ночи,
нет никакой причины оставаться.

(— Изадора, налей.
— Налью,
если любишь меня!
— Люблю...)

18

Омерзительные улыбки
приглашают в пасть смрадного рва.
С ресторанной содраны скрипки
зазывающие слова.

Неужели даются жизни,
чтоб столкнуться с трупом лоб в лоб?
Кто он, кто он, мой ненавистник,
человек, похожий на гроб?

Мрачный призрак всё знает, всё может.
Проникая и в окна, и в дверь,
ухмыляется наглая рожа
и визжит: — Да здравствует Чернь!

Любит он, нарядившись по моде,
ангелочков пускать в расход...
Он моими ногами ходит,
потому что во мне живёт!

Оттого и решил я спиться,
оттого подохнуть решил,
что, не будучи проходимцем,
проходимцем я в мире жил.

Мрачный призрак — кошмар планеты.
Люди стали бы братством богов,

но на каждом чёрная мета
превращает их во врагов.

.....

Я часто, часто вспоминаю детство
и родное своё село...
Вон он, сука, опять за углом!
Пыль и прах вся моя известность! —
что я против него с пером?

Что я против него с душою?
Он плевком её перешибёт.
Во вселенский впаянный лёд
забуддыга, ну что я стою?

Ты — тьма! Ты чернее, чем чёрная кошка.
Если б тебя я поверг в борьбе,
в морозную ночь оловянною ложкой
я б вырыл могилу тебе!

.....

Но всё ж просится тихо в сердце,
но всё ж светится каплей воды:
все мы, все мы — единоверцы,
и все лелеем наши сады.

Весеннего солнца крошево
вызволяет цветы из тьмы.
Всё равно будет больше хорошего,
если будем хорошими мы.

19

По сердцу как будто водят напильником...
Я одного полоумно хочу:
окропили чтоб синие ливни
живою водой самородок чувств.

Перегнувшись в окно, обняться бы с месяцем,
окунуть в его прохладу лоб,
и не помнить про всю околесицу,
как не помнит лета сугроб.

В час отлёта поздние копны
не замаят назад журавлей.
В душных кельях московских комнат
стал характер ранимой и злей.

Был когда-то я хрупкий Лель,
лил зарю из лиловой свирели,

пронимая людей и зверя...
Но теперь я забросил свирель!

Боль ты, боль моя нестерпимая...
Но отрада мне тоже дана:
пьёт моё молоко рябиновое
обескровленная страна.

Значит... я ей всё-таки нужен?
Стелют зори мне розовый пух.
Ах, какой я, какой неуклюжий!
Ведь любовь — это то, что не вслух.

Я отвечу, отвечу ей тем же,
к бескорыстным прижмусь друзьям.
Ни к чему бриллианты и жемчуг
златокудым клёнам-князьям.

20

Я про всё написать сумею,
но мне родину дайте писать:
не хочу я под трель канареек,
как под дудку чужую, плясать.

Пусть твердят, что я приторно нежен,
что в стихах на жалость беру,
и что чувства бельём несвежим
в них полощутся на ветру.

Что я пьянство своё не прячу,
что слащаво мусолю тоску,
что Пегас мой — сельская кляча,
обнавозившаяся на скаку.

Одноклеточным клеточным птицам
слёз моих никогда не понять:
птицеловов клыкастые лица
им милей, чем родимая мать.

Дар поэта — как родинок пятна:
дразнит счастьем, но счастья не даст.
Что вам надо? Иль вам неприятно,
что я так не похож на вас?

Я уеду. Сбегу без погони.
На подходе к родному селу
мне Россия на губы уронит
снегом пахнувший поцелуй.

Русь ты, Русь! Мой нательный крестик!
Кос твоих не забыл хулиган.
Я вплету в эти косы песни
бирюзовее розовых стран!

Я вплету в эти косы нежность,
нестерпимую, словно боль...
Смерть, сама по себе, — неизбежность,
но ещё неизбежней — любовь.

И, спокойно вступая в осень,
листопаду, как все, покорясь,
не хочу я скулить о погосте,
надоевшим уныньем давясь.

Есть услада душе успокоенной,
свет свечи не погас у груди:
выздоровливающая родина
потихоньку стала ходить.

Я в надушенных был заграницах,
видел много чудесного там,
но за все мировые столицы
и московский сортир не отдам.

Мне б худое приокское поле,
острый нож мне роскошный Бродвей,
где за доллары барышень голых
теребят за соски грудей.

Жизнь — не рай на старинных фресках,
что по взгляду тоскуют под пеплом.
Наблуждавшись, к родным перелескам
я прижался робко, но крепко.

21

Малину с кустов захода
объел вечера синий медведь.
Говорят, нынче входит в моду
про электричество петь.

Я знаю: сила электростанций —
это мощь и достаток страны.
Но всё же не надо кидаться
камнями в фонарь луны.

Прославляема сталь — и верно.
Позарез нам нужна сталь.

Только чем же белые церкви
омрачают светлую даль?

Скоро, скоро к родимому берегу,
улыбаясь, причалит весна.
Перегонит Россия Америку,
взяв себе в паруса небеса.

Оживут и птицы, и звери —
этим воздухом да не дышать!
Расцветёт наш разрушенный север,
отражаясь в глазах малыша.

Точно лекарь, белой одеждой
куст черёмуховый разодет;
я такой же чистой надеждой
загорелся под тридцать лет.

Стану жить я совсем по-другому,
по-другому стихи слагать.
Наконец-то устроюсь с домом
и не буду Бога ругать.

Иль, влекомый русалочьим зовом,
поселюсь в голубой глуши,
где никто ни рукой, ни словом
не нарушит покой души...»

22

Покачнулись огни в «Англетере»...
Что случилось с тобою, мальчик?!
Кто загнал тебя в эти двери,
чтобы в морг увезти на кляче?

Словно плюнули здесь и растёрли,
словно девушку с воза да в ров.
Русь с ножом в лебедином горле,
отпасла ты своих коров.

Он уже никогда не откликнется,
не пожалится вербе в подол.
Бьётся Смольного в прошлом отличница
головой об траурный стол...

Заклеймённая на собраниях,
о, душа! на беду ты права!
Для распятия Музы заранее
заготовлены гвозди-слова:

«Пахнет сучкой блудливой есенинщина,
пропастиной кулацких собак!»
О, душа ты, избитая женщина,
погубил тебя кожаный мрак.

Мастер допил последнее в кружке,
и, пред тем как взойти на костёр,
из стихов, поразительно русских,
выткнул чудный персидский ковёр.

В тот декабрь у проёма оконного
он, наверно, сумел различить
в настоящем и будущем ч ё р н о г о
много больше, чем мог пережить...

Или аспидов стая проворная
влезла в номер сама — задушить?!

23

Перевёрнута навеки кружка,
громыхнул казённый табурет...
«Ты жива ещё, моя старушка?
А меня, родная, больше нет».

Смысла нет с судьбою препираться
и жалеть о пепле и золе;
чтоб о жизнь и смерть не замараться,
надо не родиться на земле.

Как нелеп на липах и рябинах
траур, но приходится, Рязань,
тихо вспомнить обо всех любимых,
тихо охнуть и закрыть глаза.

В грудь хозяину с растерянным упрёком
ткнулся мордой ошарашенный Пегас.
Смерть пришла как будто ненароком,
хоть и годы длился смертный час.

Загодя всё зная про развязку,
вон уже враги несут венки...
Папка со стихами нараспашку
стала фоном для качающихся ног.

Час двенадцатый, он всё-таки пробил,
и на цифре «тридцать» стрелки скрючились...
Кто-то молвил: — Сам себя сгубил.
Кто-то всхлипнул и шепнул: — Отмучился...

Вот и всё. За розовым туманом
изрыгает сажу чёрный дым.
Русь, хранимая беспомощно и рьяно,
сторожем оставлена своим.

Онемели щебетуньи сёстры,
головы склонил кабацкий сброд,
и топились в прорубях и вёдрах
звёзды в двадцать пятый год.

Канул в синь красавец златоглавый,
вписанный в поэтов жития,
где при Блоке — блоковская слава,
ну, а при Есенине — своя.

Не прося живущих огорчаться,
ввысь ушли закопанные вниз.
Никому не брошена перчатка.
Ни в кого. Лишь в собственную жизнь.

24

Умер ангел. Взялись коркой
кудри, пышные, как сад.
Больше Музе втихомолку
их на палец не вязать.

С подзаборной бранью прогнан
Бог из красного угла,
и повисла в русских окнах
убивающая мгла.

Сердце пусто не бывает,
снова заняты сердца,
но теперь в них проживают
ненавистники Творца.

В той стране, где был прилюдно
на куски порублен крест,
каждый подданный — иуда,
каждый царь — сановный бес.

От мадонн здесь отказались
в пользу самок под рукой,
но красоткам до красавиц
бесконечно далеко.

За случившееся с нами
нам самим держать ответ.

Есть в стране и гимн, и знамя,
только родины в ней нет.

И слезу платочком синим
Бог тайком утёр в раю,
потеряв в лице России
дочь любимую свою.

25

После похорон горьких Есенина
что ни год — то кисель да блины...
Сколько, сколько песен зарезано —
перерезано горло страны!

Тёр довольненький мумия-Ленин
в мавзолее ладошки, когда
четвертованы были деревни
и расстреляны города.

Над шелками награбленных скатертей
нелюдь празднует дела венец:
За змеиную мудрость пастырей!
За тупую покорность овец!

Привалило России «везение» —
спать с Антихристом в красных штанах.
После смерти Сергея Есенина
просидели мы век на блинах.

Эпилог

Подмигнув васильковым глазом
сдобной деве с медовой косой,
ты взошёл на макушку Парнаса
среднерусскою всей полосой!

И просыпал поэмы с черёмух
на античный седой кипарис!
Пусть взорвут азиатскую дрёму
азиатские страстность и риск!

С орхидейной красой и отравой
пусть рябины смешается кровь,
пусть овеет всемирная слава
безымянных собак и коров!

Раздобыл ты особенных красок
для сердечных своих теремов;
высока ты, вершина Парнаса,
но не выше российских холмов!

Хоть, как в дебрях, ты в юбках и блузах
заплутал, многих женщин любя,
за стихи твои, каторжник Музы,
Сам Господь расцелует тебя!

Плачет ветер в берёзовой кроне.
Ты пришёл и ушёл налегке —
словно в сумерках солнечный промельк
пробежал по овражной ольхе.

До свиданья, мой друг, до свиданья!
«До свиданья» не значит «Прощай».
Предвещает листвы опаданье
не пургу, а заоблачный май.

1989 г.